

# «Мне очень помог де Сад...»

## С писателем Виктором Ерофеевым по российским лабиринтам

**Ольга НИКОЛАЕВА,  
Александр НИКОЛАЕВ,  
для «Новых Известий»**

— Виктор Владимирович, можно назвать вышедшие книги на сегодня для вас итоговыми?

— Несомненно. Я рассматриваю это издание как нечто абсолютное, поэтому будет вернее говорить об одной книге из двух достаточно логически составленных частей — полутомов. На нее положено лет двадцать жизни, так что это мой самый долгоиграющий проект в плане самопознания и познания культуры. И если кто-то всерьез захочет понять, чем все-таки я занимаюсь, то он найдет здесь исчерпывающие ответы. Первая часть посвящена смыслу литературы. Я попытался в каждой из глав представить, как возникает литература, как рождаются ее формы, содержание, ее аура. Вторая часть — о смысле жизни, хотя она столь громко не названа. Смысл жизни постигался философами на протяжении тысячелетий, и сложилось основное представление о нем как о служении Господу здесь, на земле. Другие толкования воспринимаются, как еретические. В своей книге опосредованно, через тексты писателей и философов, я высказываю свою точку зрения.

— Ваши спутники в поисках выхода из лабиринтов — Достоевский, Чехов, Розанов, Андрей Белый, Набоков, маркиз де Сад. Что побудило обратиться именно к ним?

— Ощущение искренней любви к каждому. Мне чужда нередкая ныне идея самоутверждения за счет великих предшественников, поэтому я убежден, что к своим героям, как литературным, так и философским, надо подходить прежде всего с любовью. Не надо ставить их в трудное положение, и тогда они раскрываются, причем настолько, что порой могут обнаружить такие свои стороны, что вдруг кто-то из них покажется тебе не мил, и ты его разлюбишь.

— Итак, среди героев антиподов нет?

— Как сказать. Вот де Сад, который очень помог мне на определенном этапе жизни тем, что когда-то пошел против всего французского Просвещения. Совершенно не сравнивая себя с ним по масштабности, я иногда с некоторым ужасом осознаю, что в общем-то тоже пошел против течения русской литературы и моих кумиров. Вместе с тем де Сад, впрочем, как и некоторые другие, в чем-то мой антипод. Хотя бы потому, что мне не доставляет никакого удовольствия совершать садистские поступки по отношению к людям, может быть, даже того заслуживающим. Часто общаясь с литераторами, я с горечью наблюдаю, как много в них злости. Возможно, это свойство нереализовавшихся людей. Могли назвать еще весьма важный для меня культурный феномен: наверно, я никогда не смог бы разобраться в жизни без Розанова и, как ни покажется странным, без такого явления, как комикс.

— Вот уж нечто лежащее вне пространства русской культуры.

— И тем не менее оно интересно своей поразительной самодостаточностью. Так уж сложилось в жизни, что я никогда не считал себя членом только одной культурной общины. Теперь понимаю, что в этом для меня есть явно спасительный момент, ибо формы и параметры неприятия, проявляющиеся по отношению ко мне, давно стали бы для меня достаточно убийственными. А поскольку я существую в свободном планировании, то все это озадачивает меня скорее чисто философски — странно, что в других краях люди способны понимать и принимать то, что я пишу, гораздо спокойнее, терпимее.

— То есть мы — общество более стереотипного мышления?

— В целом, да. Ленивство сознания по сей день не позволяет большинству из нас увидеть Запад иначе, нежели в модулях славянофильства и западничества или в их вариациях. Однако мне очевидно, что, несмотря на это, почти у каждого есть и свой Запад, и своя Россия, что есть Россия, которая в чем-то более свободна, гибка и подвижна, чем Запад, и есть Запад по-иному более свободный и подвижный, чем Россия. Наблюдая пресловутую западную рассудочность, мы привыкли тешить себя

мыслью о своей особой душевности. Ерунда, сам не раз в этом убеждался и пришел к горькому выводу, что самая страшная беда нашей культуры состоит в том, что в ней цена человеческой жизни на порядок ниже. Если ничего не значит жизнь ребенка, женщины, солдата, учителя, то о чем вообще можно толковать? Я увидел, как глубоко ошибочны и опасны рассуждения, что, мол, Россия сильна своей незаинтересованностью в системе социальных договоров, якобы ограничивающих независимость личности. Вот и царит у нас вседозволенность, отсутствуют элементарные взаимоуважительные отношения между людьми. В западной цивилизации, где эта система давно четко отработана, результат, как выясняется, по-человечески несравнимо достойнее. А то, что ими проигран Бог — дело времени. В конце концов любая маска изнашивается, и на смену ей приходит другая.

— К прозе вас подтолкнули занятия теорией литературы?

— Никким образом, хотя доводилось слышать: ну вот, еще один критик подался в писатели.

— Не секрет, что ваши критические работы признают блестящими даже те, кто не склонен высоко оценивать вашу прозу.

— Конечно, я знал, что многие считают, что нельзя говорить обо мне как о явлении литературном, причем с этим согласна и часть западных коллег. И, видимо, кому-то покажется, что я живу несколько шизофренической жизнью: с одной стороны, уверен, что состоялся как критик, с другой — тянусь к прозе, к стае, на мой взгляд, не совсем уж плохой.

— А может быть, все-таки вам в творчестве мешает аналитический склад ума, и алгебра не сочетается с гармонией?

— Да уж, приходилось читать, что я пишу чисто рационалистически, порой даже не по себе становилось, и казалось, что речь идет о хитрой монстрообразной бестии, владеющей какими-то секретами и наперед просчитывающей, когда «выстрелит» той или иной вещью. Какой же изощренностью исторического предвидения надо в таком случае обладать! Вы вспомнили пушкинские слова, но он не всегда во всем прав. И если алгебра с гармонией не сочетаются на уровне алгебры, то существует еще и высшая математика. Кстати, одна из бед нашей литературы, на мой взгляд, заключена в том, что она за небольшим исключением, к которому принадлежит Пушкин, создавалась не очень умными людьми.

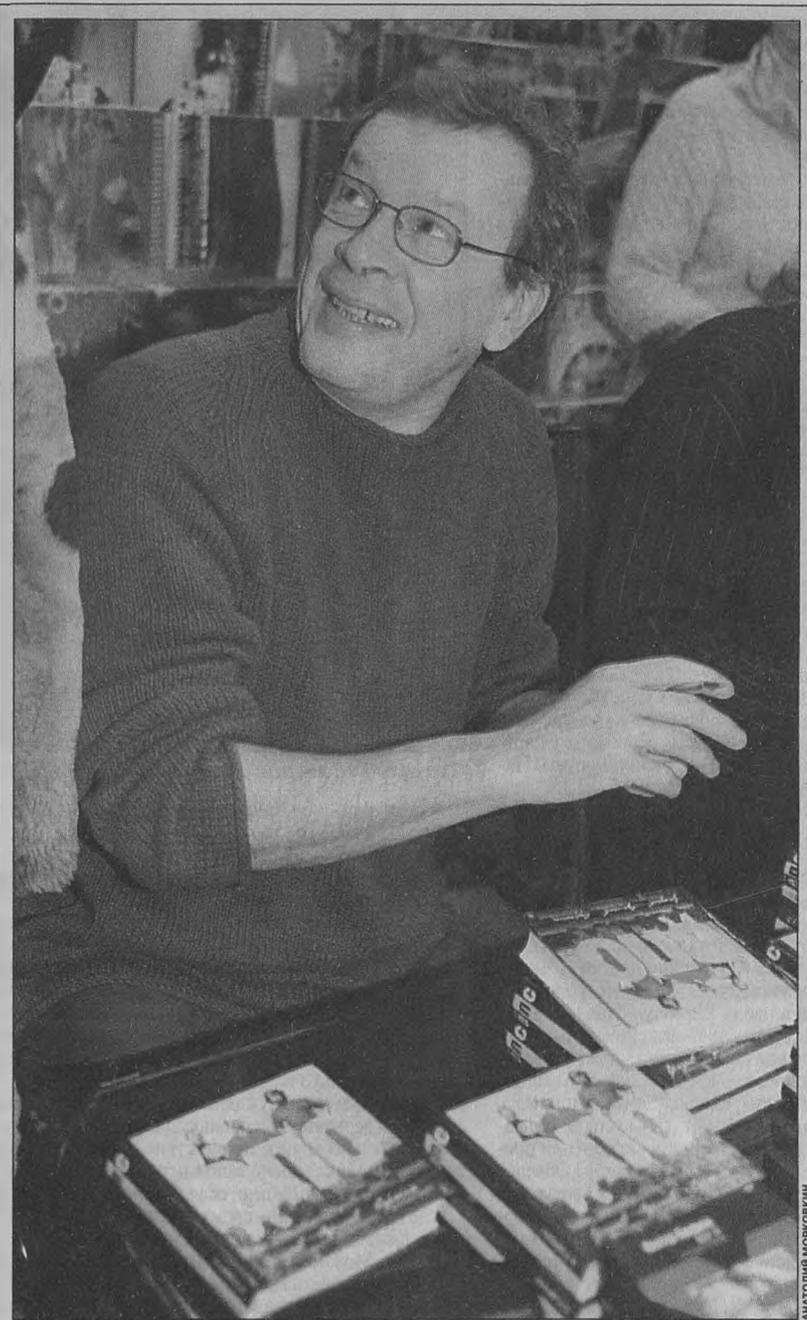
— Каковы же другие ее беды?

— Они в значительной мере проистекают из первой, и наша литература по крайней мере дважды сильно заблудилась. В первый раз это произошло с французским Просвещением. Мы поверили в Вольтера и Руссо, как никто в мире, даже сами французы. Более того, спустя два с лишним столетия, живем по их законам и в духе их представлений о добре и зле. Вот почему в свое время мне так необходимо был де Сад, который, будучи их современником, сумел предьявить человечеству совершенно иной счет. Вторая беда — философия належы, то есть вера в то, что завтра обязательно будет лучше, чем вчера и сегодня.

— Утопическими идеями грешила, наверно, вся мировая философская мысль.

— Но не до такой же степени! Эта идея вспыхивала в разных умах, однако только на русской почве она приобрела тотальный характер. Вся наша литература на ней стоит. Именно поэтому я уверен, что она-то и породила революцию. В определенном смысле и Николай II, и Ленин — ее выкоремыши. Не особенно глубоко разбираясь в литературных делах, они тем не менее занимали идеологические позиции, ею продиктованные. Русская литература породила столько мифов, что мы до сих пор не в состоянии их переварить, и вторая реальность стала для нас важнее первой. Пусть сегодня классику читают мало, это не имеет никакого значения, ибо мы на генетическом уровне продолжаем воспринимать мир сквозь призму ее вымысла. Мы верим в слово больше, чем в дело, и слово у нас никак не связано с делом.

— В вашей книге заложено немало внутреннего протеста как против культурной тра-



Виктор Ерофеев принадлежит к числу наиболее ярких фигур современной отечественной культуры. «Русская красавица», «Страшный суд», «Пять рек жизни», «Жизнь с идиотом» переведены на многие языки мира. Литературовед и критик, теоретик и последовательный пропагандист русского постмодернизма, ведущий острой интеллектуальной телепередачи «Апокриф», Ерофеев очень деятельный в сфере литературно-общественной жизни человек, сумевший на разных этапах литературного процесса последних десятилетий трижды объединить под одной обложкой различные писательские имена — в нашумевшем в свое время альманахе «МетрОполь» (совместно с Евгением Поповым; 1979), а также в антологиях «Русские цветы зла» (1986) и «Время рожать» (2001). Недавно он выпустил две книги — «Лабиринт-Один» и «Лабиринт-Два», представляющие собой попытку разобраться в «проклятых» вопросах человеческого бытия и искусства.

диции, так и против многих проявлений современного литературного процесса. Что вам особенно претит?

— Например, групповщина. Наша литература и особенно критика по-прежнему до неприличия партийны, а это серьезно тормозит движение вперед.

— Однако в своей деятельности вы тяготеете к объединению литераторов.

— Но не на партийной основе. Когда я составлял свои антологии, то прежде всего руководствовался представлениями о таланте, о возможностях человека и возможностях искусства.

— В этом году вышел один весьма примечательный сборник ранних произведений Ерофеева. Пригов и Сорокина, в названии которого легла аббревиатура из фамилий авторов «ЕПС». Это веселое прощание с постмодернизмом или напоминание: «живи курилка»?

— Постмодернизм на наших глазах превратился в факт истории, но тем не менее прощание будет длительным. Слишком многое он перевернул в русской литературе, сыграв роль, пока недооцениваемую по разным, порой приходящим, причинам. Перенеся решение проблемы добра и зла из сферы внешнего, социального в сферу

личной вины внутреннего «Я», он вывел русскую литературу из тупика традиции. Этого не смогли сделать ни шестидесятники, ни даже писатели эпохи Серебряного века. Кроме того, он привел литературу в область игровой культуры, что тоже мало кому удавалось. Покажется невероятным, но это сделали всего несколько человек.

— Для вас постмодернизм — особое миропонимание, но когда человек, не очень искушенный во всех этих проблемах, слышит от постмодернистов разного пошиба, что литература сводится лишь к игре, он озадачен, ибо привык с детства к тому, что она — «учебник жизни».

— Всегда легче высказать в каком-то интервью звонкий афоризм, нежели дойти до сущности. В каждой игре есть свои правила, и они диктуются не самой игрой, а какими-то понятиями, а тут уж и до метафизики недалеко. По-моему, всегда ясно, где пишущий балуется, и тогда в его игрушку никто не верит, так как через нее не прошла энергия. Но если через твой текст она прошла, то хоть тысячу раз заявляй, что ты только играешь, читатель не поверит, так как он чувствует, что игрушка-то намоленная.

— А утверждения, что жизнь и литература — вещи абсолютно разные и смешивать их не следует?

— Их опять-таки легко разделить ради эффектного словесного пассажа. На самом деле все много глубже и сложнее. Если брать схему их сосуществования, то можно выделить две основные модели. Первая — позиция чистого гения, не желающего вникать в разного рода мирские ситуации и как бы требующего: оставьте меня в покое. Вторая — позиция некоего любопытства, стремления постичь происходящее вокруг и познать, как же все-таки рождается искусство. Она, разумеется, более уязвима. Вместе с тем позиция чистого гения, хотя и блещет хорошо отточенными углами, тоже не может вполне удовлетворить, поскольку рано или поздно наступает момент, когда необходимо задуматься над реалиями жизни. Когда это происходит с писателем, то возникают тексты, как-то по особому созвучные духу и ожиданиям его эпохи.

— Чем, по-вашему, диктуется востребованность или забвение писателя в ту или иную эпоху?

— На эту тему диссертацию написать можно. Думаю, суть в том, что в силу нелинейности развития культуры позиция в отношении к своему времени, которую избрал писатель, вдруг перестает играть. Смотрите, кумиры шестидесятников — Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак — сегодня не прочтываются, а провались Розанов, Добычин, Хармс, обэриуты. Ни на кого не похожий, неимиджевый Мандельштам теряется в культуре, где имидж чрезвычайно важен. Образ непотопляемой жрицы Ахматовой оказывается потопляемым и себя изжившим. Конечно, есть фигуры, никогда не «прославившие», но их единицы. Вспомним, что Пушкин после смерти «просел» и надолго, а какие чудовищные вещи творились с Шекспиром...

— Пожалуй, общим местом стало утверждение, что литература утратила свою энергетику, уступив музыке, театру, телевидению.

— Несомненно, что в падении литературной энергетики писатели виноваты сами, к этому привели их внутренняя леность и нелюбовство. Литература — огромное поле полезных ископаемых, которое надо разрабатывать в разных и самых неожиданных местах. А копают-то в одном! Естественно, что оно уменьшается, отсюда — деградация литературы как таковой и падение читательского интереса. Потому нужно воспринимать, как благо, появление любого сильного энергетика, чье творчество вызывает всплеск. Таков, как ни относиться конкретно к его произведениям, Пелевин. Есть и еще одна причина снижения влияния литературы, имеющая социально-идеологические корни. Речь идет о все той же глубинной проблеме русской интеллигенции, как особой касты людей, чьей профессией были думы и мечты о народном счастье. Провалилось куда-то это понятие, а вместе с ним и народ, и заняться ей нечем. К тому же идеология освобождения, ею исповедуемая, оказалась проще идеологии свободы. Свобода — состояние, тормозящее человека, так как предполагает выбор. Русская интеллигенция к этому не привыкла, и потому с наступлением свободы, пусть и ущербной, большинство в той или иной форме застопорилось.

— Что особенно тревожит или, наоборот, радует вас в сегодняшней нашей действительности?

— Самое страшное, что ничто не предвещает повышения цены жизни человека, а я утверждаю, что, пока этого не произойдет, любые экономические и административные усилия бессмысленны.

Мы слишком хорошо научились вытеснять из себя внутреннего врага и превращать его во внешнего, тем самым мгновенно снимая с себя ответственность. В этом плане наша страна — антихристианская. Здесь и причина кризиса церкви, совершенно неадекватно относящейся к социальной обстановке и умонастроениям людей. Меня беспокоит, что в России накопилось чудовищное количество злости. Приходит мысль, что агрессивность в итоге погубит страну, и она не сумеет пережить наступивший век.